

Сергей Кибальник
(Санкт-Петербург)

ГАЙТО ГАЗДАНОВ И ВОЕННАЯ ПРОЗА ЛЬВА ТОЛСТОГО



Как уже было мной недавно показано, роман Гайто Газданова «Вечер у Клэр» написан в традициях не Марселя Пруста, а автобиографической прозы Л.Н. Толстого [2]. До настоящего времени проходили мимо внимания исследователей и существенные интертекстуальные связи между заключительными страницами «Вечера у Клэр», на которых герой-рассказчик Газданова рассказывает о своем участии в Гражданской войне, и военной прозой Толстого. Между тем они довольно значительны.

Как отмечали еще современники Толстого, его «Севастопольские рассказы» и ранняя военная проза представляли собой прежде всего «очерки разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских)» [3, с. 215]. Одна из главных тем этих произведений, как определяет ее Л.Д. Опульская, — это «что такое смертельная опасность и воинская доблесть, как переживается страх быть убитым и в чем заключается храбрость, побеждающая, уничтожающая этот страх» [4, с. 8]. Вот как, например, эта тема ставится в рассказе «Набег» (1852).

В самом его начале о храбрости разговаривают между собой герой-рассказчик и капитан Хлопов: «— Храбрый? храбрый? — повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос: — *храбрый тот, который ведет себя как следует,* — сказал он, подумав немного. Я вспомнил, что Платон определяет храбрость знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться, и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал,

что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться*, а не того, *чего не нужно бояться*» [5, т. 3, с. 16–17; курсив Толстого. — С. К.]. Мысль эта иллюстрируется в дальнейшем несколькими примерами и проверяется самим сюжетом рассказа.

Мы узнаем о «неслужащем каком-то, из испанцев, кажется», который «все, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он» и которого «таки ухлопали». На реплику героя-рассказчика о нем: «— Так, стало быть, храбрый» — капитан отзывается: «— Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают...» [5, т. 3, с. 16]. В рассказе и повествуется о таком же, только уже русском герое, «хорошеньком прапорщике», который, несмотря на запреты капитана, все же «бросается на ура» и получает в результате этого смертельное ранение. Ему противопоставлен сам капитан Хлопов: «В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. "Вот кто истинно храбр", сказалось мне невольно. Он был *точно таким же, каким я всегда видал его...*» [Там же, т. 3, с. 37; курсив Л. Н. Толстого. — С. К.]. «Мораль» рассказа сформулирована в нем и прямо, словами «старого солдата»: «— Ничего не боится: как же этак можно! — прибавил он, пристально глядя на раненого. — Глуп еще — вот и поплатился. — А ты разве боишься? — спросил я. — А то нет!» [Там же, т. 3, с. 38].

Герой «Рубки леса» капитан Болхов прямо признается: «— Я не могу переносить опасности... просто, я не храбр...» — и объясняет свое пребывание на Кавказе невозможностью вернуться в Россию [Там же, т. 3, с. 55]. Как бы в противоположность «Набегу» — и вслед за некоторыми другими произведениями Толстого, например «Севастопольскими рассказами» и той же «Рубкой леса», — военные сцены «Вечера у Клэр» начинаются с изображения случаев «самой ужасной трусости», которую никак не может понять герой-рассказчик [1, т. 1, с. 128]. При этом Газданов, безусловно, опирается на «Севастопольские рассказы» и «Воину и мир»: Володя Козельцов «в настоящую минуту был *жесточайшим трусом*, хотя шесть месяцев тому назад он далеко не был им» [5, т. 4, с. 68; здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, курсив наш. — С. К.], на Жеркова внезапно находит «непреодолимый страх» [5, т. 9, с. 225], а всем существом Николая Ростова владело «одно *нераздельное чувство страха* за свою молодую, счастливую жизнь» [Там же, т. 9, с. 229].



Только представив в беглом абрисе целую когорту редкостных трусов, Газданов переходит к рассказу об «иных» людях: полковнике Рихтере, поручике Осипове, солдате Филиппенко, об «одном из самых смелых людей», каких он «когда-либо видел» [1, т. 1, с. 132], — Данько и, наконец, об исключительном храбрце Аркадии Славине. При этом у Газданова отнюдь не проявляется закономерность, почти строго соблюдаемая у Толстого: офицеры фразерствуют, а солдаты без лишних слов выполняют свой долг. В «Вечере у Клэр» и трусы, и храбрцы встречаются как среди солдат, так и среди офицеров. Как и некоторые другие трансформации Газдановым мотивов Толстого, эта представляет собой, скорее всего, сознательную полемическую их интерпретацию.

Рассказав о «бронепоездных негодяях», герой-рассказчик Газданова вспоминает и о «самом удивительном человеке», которого он «видел на войне», «внешнее отличие которого заключалось в его непобедимой лени — Копчике» [1, т. 1, с. 140]. Обрадовавшись тому, что вследствие ранения наводчика он мог больше не подавать снаряды, Копчик «утешает» наводчика тем, что кровь у него «очень красная», а сердце «крепкое» [Там же, т. 1, с. 141]. Это напоминает финальный эпизод рассказа Толстого «Набег»: «Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонд и другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободрительной улыбкой подошел к раненому. — Что, видно, и вам сделали дырочку на целом месте, — сказал он шутливо-небрежным тоном, — покажите-ка. Прапорщик повиновался; но в выражении, с которым он взглянул на веселого доктора, были удивление и упрек, которых не заметил этот последний» [5, т. 3, с. 39]. И толстовский прапорщик, и газдановский наводчик вскоре после этого умирают. Однако если во взгляде первого на доктора были «выражение и упрек», то на лице второго — только «смертельная тревога». Неуместность подобного «утешения» у Газданова выражена имплицитно, через менее определенную деталь, подчеркивающую тяжелое состояние раненого: «наводчик с усилием посмотрел на Копчика» [1, т. 1, с. 141].

Даже примечания к «Набегу», в которых Толстой писал о значении некоторых слов «на кавказском наречии», например: «*Маиштак* на кавказском наречии значит небольшая лошадь» [5, т. 3, с. 19; курсив Л. Н. Толстого. — С. К.] — могли подвигнуть Газданова на аналогичные ремарки в «Вечере у Клэр». Причем одна из таких ремарок почти совпадает с толстовским примечанием. Сравним у Газданова: «В глубине оврага, который на кавказско-русском языке называется балкой, тек ручей, в котором водились форели» [1, т. 1, с. 83–84] и у Толстого: «*Балка* на кавказском наречии значит овраг, ущелье» [5, т. 3, с. 19; курсив Л. Н. Толстого. — С. К.]. Пояснительная ремарка, у Толстого структурно выне-

сенная в подтекстовое примечание, у Газданова введена в художественную вязь самого текста. Она остается у него единственным пояснением языкового характера к кавказскому эпизоду «Вечера у Клэр», что особенно бросается в глаза на фоне целого ряда подобных примечаний Толстого к «Набегу». Впрочем, и сам этот «кавказский» эпизод романа, в отличие от военных рассказов Толстого, действие которых происходит на Кавказе, занимает в «Вечере у Клэр» всего несколько страниц.

Парадоксальность приступов трусости даже у нетрусливых людей запечатлена Толстым также, например, в рассказе «Севастополь в мае»: «Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом. <...> Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было. Уже раз проникнув в душу, страх нескоро уступает место другому чувству; он, который всегда хвастался, что никогда не погибает, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. <...> Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости; он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя» [5, т. 4, с. 39–41].

Изображение случаев «самой ужасной трусости» в «Вечере у Клэр» пронизано памятью об образах в произведениях Толстого: «Я не понимал, как может плакать от страха двадцатипятилетний солдат, который во время сильного обстрела и после того, как в бронированную площадку, где мы тогда находились, попало три шестидюймовых снаряда, исковеркавших ее железные стены и ранивших несколько человек, — ползал по полу, рыдал, кричал пронзительным голосом: ой, Боже ж мой, ой, мамочка! — и хватал за ноги других, сохранивших спокойствие» [1, т. 1, с. 128].

В рассказе Толстого «Севастополь в августе» на вопрос Володи Козельцова о Мельникове солдаты отвечают ему: «— А такой у нас, ваше благородие, глупый солдатик есть. Он ничего как есть не боится и теперь все на дворе ходит. Вы его извольте посмотреть: он и из себя-то на ведмедя похож. — Он заговор знает, — сказал медлительный голос Васина из другого угла. Мельников вошел в блиндаж. Это был толстый (что чрезвычайная редкость между солдатами), рыжий, красный мужчина, с огромным выпуклым лбом и выпуклыми ясно-голубыми глазами. — Что, ты не боишься бомб? — спросил его Володя. — Чего бояться бомбов-то! — отвечал Мельников, пожимаясь и почесываясь, — меня



из бомбы не убьют, я знаю. — Так ты бы захотел тут жить? — А известно захотел бы. *Тут весело!* — сказал он, вдруг расхохотавшись» [5, т. 4, с. 106—107].

Отзвуки разговоров толстовского Мельникова, возможно, звучат и в словах Филиппенко, не *понимавшего* «ни нервного возбуждения, владевшего людьми, ни их страха»: «— Ты *не боишься*, Филиппенко? — спрашивал его командир. — А *чего бояться?* — удивленно говорил Филиппенко. — Боязно ночью на кладбище, вот то боязно. А *днем не боязно*» [1, т. 1, с. 132]. Некоторыми чертами Мельникова отмечен и газдановский Данько: «Он был *веселый*, бесконечно добрый и бесконечно отчаянный человек. — Данько, ты поехал бы на северный полюс? — спрашивал я. — А там интересно? — Очень интересно и много белых *медведей*. — А, ни, — сказал он, — я *медведей боюсь*. — Почему же ты их *боишься?* Они тебя к высшей мере не приговорят. — А они укусят, — ответил Данько и засмеялся» [Там же, т. 1, с. 134]; «— *Как же ты, Данько, не испугался?* — спрашивали его уже после того, как он был перодеет и накормлен и сидел у печи теплушки, куря папиросу из табака Стамболи. — *Кто не испугался?* — ответил Данько. — *О, я очень испугался*» [1, т. 3, с. 133] (ср. также аналогичный диалог в «Набеге»: «— А ты *разве боишься?* — спросил я. — *А то нет!*» [5, т. 3, с. 38]).

В то же время газдановский Данько, «большой любитель посмеяться и хороший товарищ» [1, с. 132], отчаянно храбрый, находчивый и изобретательный, невинно разгуливающий под обстрелом, как будто он тоже «знает заговор», представляет собой, разумеется, полную противоположность бессмысленно храброму и не совсем психически нормальному Мельникову. Зато в этом последнем отношении Мельников, быть может, является отчасти прообразом газдановского Копчика.

Возможно, есть в «Вечере у Клэр» и образы, навеянные личностью самого Толстого. Так, деталь, относящаяся к его собственному участию в военных действиях: «Когда он наводил пушку, *неприятельская граната разбила лафет этой пушки*, разорвавшись у его ног. К счастью, Льву Николаевичу она не причинила никакого вреда» [6, с. 99] — возможно, была использована Газдановым при изображении полковника Рихтера: «Командир бронепоезда "Дым" лежал, я помню, на крыше площадки, между двумя рядами гаек, которыми были свинчены отдельные части брони. *Неприятельский снаряд, с визгом скользнув по железу, сорвал все скрепы*, бывшие слева от полковника; он даже не обернулся» [1, т. 1, с. 131].

По-видимому, в решении самого Газданова пойти на войну не последнюю роль играл пример Толстого. Во всяком случае, герой-

рассказчик «Вечера у Клэр» объясняет его не какими-либо политическими соображениями: «Я поступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому что так было принято; и если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную армию» — а тем, что «хотел знать, что такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному» [Там же, т. 1, с. 116—117], то есть тем же, что подвигает на такое решение всякого начинающего писателя. В другой раз на вопрос дяди: «— А почему, собственно, ты идешь на войну?» — герой-рассказчик реагирует следующим образом: «Я не знал, что ему ответить, замаялся и, наконец, неуверенно сказал: — Я думаю, что *это все-таки мой долг*» [Там же, т. 1, с. 118]. И это объяснение несколько корреспондирует — вполне закономерно отличаясь гораздо большей расплывчатостью — с мотивировкой, которую выдвигает герой «Севастополя в августе»: «Как-то совестно жить в Петербурге, когда *тут умирают за отечество*» [5, т. 4, с. 71].

Газданов вполне следует Толстому и в оценке войны как явления противоестественного: «И самые простые солдаты, единственные, которые оставались в этой обстановке прежними Ивановыми и Сидоровыми, созерцателями и бездельниками, — эти люди сильнее, чем все другие, страдали от *неправильности и неестественности происходящего* и скорее, чем другие, погибали» [1, т. 1, с. 148]. Однако у него эта противоестественность лишена руссоистского подтекста, который обычно ощущается у Толстого: «Природа дышала красотой и силой. <...> *Все недоброе в сердце человека* должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственным выражением красоты и добра» [5, т. 3, с. 29].

Образ Аркадия Славина, о котором герой-рассказчик отзывается так: «Все, что он делал, было исключительно и необыкновенно» [1, т. 1, с. 144] — так же, как и деда героя-рассказчика, — написан с явной ориентацией на повесть Толстого «Хаджи-Мурат». Проявления героями необыкновенного мужества или жестокости в самых кровавых обстоятельствах изображаются в этой повести неоднократно: «Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. *Половина лица у его была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему*» [5, т. 35, с. 52], «Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид, — тот самый, который *отрубил голову ханше*» [Там же, т. 35, с. 57]. Доблесть, проявляемая в «Вечере у Клэр» Аркадием Славиным: «В бою с пехотой Махно, когда на площадке бронепоезда из четырнадцати человек команды остались только двое — остальные были убиты или ранены, —



Аркадий, с искривленной контузией челюстью, наступая на труп первого номера, которому *оторвало голову* — и безглавое тело его еще корчилось, и пальцы его уже не человеческих, отдельных рук еще царапали пол, — Аркадий, *пачкая свой френч в человеческих мозгах*, долго стрелял один из пушки в сплошную массу махновских солдат, карабкавшихся на насыпь» [1, т. 1, с. 144] — напоминает отчаянную храбрость мюридов Хаджи-Мурата.

В Славине герой-рассказчик даже подмечает «что-то азиатское»: «Его храбрость была не похожа на обычную храбрость: и все поступки Аркадия отличались *точностью, невероятной быстротой и уверенностью*; и, казалось, *сознание своего неизмеримого превосходства* над другими не покидало его никогда. *Движения его во время опасности были быстры*, как движения японского фокусника или акробата: в нем вообще было *что-то азиатское*, часть того таинственного *душевного могущества*, которым обладают люди желтой расы и которое непостижимо для белых» [1, т. 1, с. 144–145]. Аналогичные быстроту и точность Толстой описывает у Хаджи-Мурата: «Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, несмотря на свою хромоту, *как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану*» [5, т. 35, с. 94], «Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же *редко выпускал выстрел даром* Гамзало» [Там же, т. 35, с. 116]. Некоторыми своими чертами: «Вместе с тем Аркадий был *тяжел и широк*» [1, т. 1, с. 145] — Славин напоминает сына Хаджи-Мурата Юсуфа: «Широкие, несмотря на молодость, плечи, *очень широкий* юношеский *таз* и тонкий, длинный стан, длинные сильные руки и сила, *гибкость, ловкость во всех движениях* всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном» [5, т. 35, с. 106].

Другие проявления характера Славина: «Офицеры не могли простить ему тех *презрительных усмешек*, какими он сопровождал их неудачные распоряжения во время боя» [1, т. 1, с. 145] — связывают его с самим Хаджи-Муратом. В обращении последнего с окружающими то и дело проглядывает «презрение»: «*презрительно* оглядывая присутствующих» [5, т. 35, с. 46]; «Во все время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть *презрительно улыбался*» [Там же, т. 35, с. 84]; «Хаджи-Мурат сбоку взглянул *презрительно* на маленького, толстого человечка в штатском и без оружия» [Там же, т. 35, с. 101]; «человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, *презрение*, гадливость и ненависть ко всем русским» [Там же, т. 35, с. 55]; «или, противно религиозному закону и чувству отвращения и *презрения* к русским, покориться им» [Там же, т. 35, с. 81]; «К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и *презрение*» [5, т. 35, с. 84].

В Славине подчеркивается его красивый голос и умение петь: «Ночью мы просыпались оттого, что слышали *раскаты его сильного баритона*; он всегда пел, возвращаясь. Он вообще *пел очень хорошо*; он по-настоящему знал, что такое музыка. С побледневшим лицом, с головой, склоненной на грудь, он просиживал в купе долгие минуты совершенно неподвижно; и потом вдруг глубокий грудной звук наполнил вагон; и через секунду я не видел больше ни стен вагона с развешенными по ним винтовками, ни книг, ни ламп, ни моих товарищей — точно их никогда и не было, и все, что я знал до сих пор, было страшной ошибкой, и ничего не существовало, кроме этого голоса и белого лица Аркадия *со смеющимися глазами*, хотя он всегда *пел только печальные песни*» [1, т. 1, с. 145]. Эта черта связывает его с мюридом Хаджи-Мурата Ханефи: «Ханефи знал много горских песен и *хорошо пел их*. Хаджи-Мурат, в угождение Бутлеру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был *высокий тенор*, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим *торжественно-грустным напевом*» [5, т. 35, с. 91]. Что касается «смеющихся глаз» Аркадия Славина, то эта деталь, использованная в «Вечере у Клэр» неоднократно (например: «Открывая глаза, я видел невысокую худую женщину с большим красным ртом и *смеющимися глазами*» [1, с. 150]) — тоже толстовская. Сравним, например, в «Анне Карениной»: «— Пускай делают, как им, вам то есть, угодно, — сказал он, *смеясь только глазами...*» [5, т. 18, с. 7], «— И глаза его *смеялись при чтении доклада*» [Там же, т. 18, с. 18] и в «Воскресении»: «Генерал не переставая *улыбался глазами...*» [5, т. 32, с. 301].

Военные сцены «Вечера у Клэр» содержат галерею офицеров и солдат, которые не образуют каких-либо четких типов. У Газданова есть лишь некоторые намеки на классификацию: трусы, смельчаки, негодяи... Зато у Толстого существует четкая типология: «В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск: кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д. Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие: 1) покорных; 2) начальствующих и 3) отчаянных. Покорные подразделяются на а) покорных хладнокровных и б) покорных хлопотливых. Начальствующие подразделяются на а) начальствующих суровых и б) начальствующих политических. Отчаянные подразделяются на а) отчаянных забавников и б) отчаянных развратных» [5, т. 3, с. 43].

Возможно, этот несколько рассудочный подход Толстого предопределил то, что дальнейшее изображение отношений между героем-



рассказчиком «Вечера у Клэр» и солдатами бронепоезда «Дым» строится уже как метатекст не его военной прозы, а «Записок из Мертвого дома» Достоевского. Отталкивание именно от них оказывается для Газданова тем более органичным, что «Записки...» представляют собой классический литературный текст на тему об отношениях дворянина (образованного человека) с народом, а в последующих военных эпизодах «Вечера у Клэр» речь идет не столько о войне, сколько именно о взаимоотношениях между героем-рассказчиком и солдатами.

Таким образом, в «мирных сценах» бронепоездной жизни Газданов конструирует свое художественное высказывание, отталкиваясь и переосмысляя классическую книгу Достоевского о народе. Обращаясь собственно к «войне», он создает своего рода метатекст военной прозы Толстого. Газдановский образ «человека на войне» создается при помощи неатрибутированных аллюзий и цитат из нее как трансформация аналогичного образа Толстого.

Список литературы

1. Газданов Г. Собр. соч.: в 5 т. М., 2009.
2. Кибальник С.А. Гайто Газданов, Марсель Пруст и Лев Толстой // Западный сборник: В честь 80-летия П.Р. Заборова. СПб., 2011.
3. Некрасов Н.А. Письмо к И.С. Тургеневу от 18 августа 1855 г. // Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: в 15 т. СПб., 1998. Т. 14. Кн. 1.
4. Опульская Л. Творческий путь Л.Н. Толстого // Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 12 т. М., 1984. Т. 1.
5. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М., 1928–1958.
6. Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого. М.; Пг., 1923. Т. 1.
7. Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1973. Т. 4.



ИКОНА

Праздничные службы, в которых на протяжении многих веков участвовали все члены общества, не зависимо от сословной принадлежности, возраста или образования, приобщали к миру красоты и гармонии, делали ощутимой силу божественного слова. <...> Православная вера по-детски цельная, целомудренная, одухотворяющая весь окружающий мир...

М. Коннова